УДК 32.019.51:94(47)

ГОРИН Д.Г.

Историческая политика и легитимация власти: девять особенностей представлений о прошлом в российской культуре

В статье рассматривается роль исторической политики в легитимации власти и выявляются особенности представлений о прошлом в российской культуре. Исследование особенностей функционирования исторической памяти в российской политической традиции проводилось путем интерпретации социально значимых текстов, отражающих дискурсы, представленные в публичной политике.

Ключевые слова: историческая политика, историческое самосознание, политическая культура, хронотоп, модерн, постмодерн.

Чувство истории представляет собой сложный и внутренне дифференцированный феномен, обладающий избирательностью: одни смыслы «вырываются» у времени и сохраняются, а другие подлежат «забвению». Историческое сознание проявляет себя не только в восприятии прошлого, но и в производстве целостных картин актуальной реальности. Поэтому представления о прошлом являются предметом не только истории, но также социологии, культурной антропологии и политологии. Проблема исторического сознания тесно связывается с категориями «власти» и «контроля» (как, например, в концепции «знания-власти» М. Фуко). Легитимирующая функция исторического знания основывается на темпорализации как фундаментальном свойстве систем мысли, обеспечивающих идеологическую легитимацию власти. Целостные картины социального и политического порядка поддерживаются путем фиксации *различий* между настоящим и прошлым, настоящим и будущим. Именно эти различия соединяют или разъединяют описания реальности и идеала и лежат в основании национальной и культурной идентичности, политического целеполагания, обосновании существующего порядка.

В данной статье предлагаются обобщенные результаты исследования чувства истории и его роли в легитимации власти, которые касаются не столько содержания реактуализируемых исторических образов и конкретных вариантов интерпретации прошлого, сколько логики политического функционирования исторического сознания, его структуры и хронотопических характеристик. Результаты анализа представлений о прошлом, обусловленных как культурными предпосылками, так и спецификой исторической политики, сформулированы в виде девяти характерных для российской культуры особенностей.

1. Сочетание догматизации истории и исторической «амнезии». Для российской социально-политической мысли на разных этапах ее развития было характерно стремление догматизировать и сакрализовать историю. История часто рассматривалась как воплощение предначертанной свыше «судьбы». Характерными, например, являются слова Г. Флоровского: «В русском переживании истории всегда преувеличивается значение безличных, даже бессознательных, каких-то стихийных сил, “органических процессов”, “власть земли”, точно история совершается, скорее, в

страдательном залоге, более случается, чем творится»[1]. Эта «судьба» связывалась то с промыслом, то с могущественными законами диалектики, то с иррациональной верой в глубинную уникальность России. Поэтому история часто переставала быть предметом научных споров, воплощаясь в «канонических» текстах, фиксирующих культурную память, не подлежащую вольным толкованиям. В настоящее время власть предпринимает очередные попытки колонизации исторического сознания, предлагая, например, меры по созданию единого учебника истории, криминализации отдельных вариантов интерпретации некоторых исторических тем, определению списка рекомендуемых к просмотру фильмов и т.п. Парадокс, однако, состоит в том, что догматизация истории удивительным образом сосуществует с той легкостью, с которой она реинтерпретируется в угоду актуальным политическим интересам. Тезис о непредсказуемости российского прошлого хорошо известен, а массовое историческое сознание характеризуется амнезией даже по отношению к событиям недавнего времени. Об этой устойчивой характеристике писал еще П. Чаадаев: «Наши воспоминания не идут далее вчерашнего дня; мы как бы чужие для себя самих. Мы так удивительно шествуем во времени, что по мере движения вперед пережитое пропадает для нас безвозвратно»[2]. Эти две характеристики с трудом совместимы в одном феномене, но в данном случае они соединяются. Впрочем, их соединение объяснимо: традиционалисты, стремящиеся вписать актуальную реальность в догматизированную ретроспективу, опираются не на память, а на амнезию, которая позволяет им конструировать «традиции» задним числом.

2. Огосударствление исторической политики. В некотором смысле указанная двойственность объясняется высокой степенью огосударствления исторической политики. В российской политической науке историческая политика часто рассматривается как целенаправленная деятельность государства по актуализации отдельных страниц истории и исторических образов, запечатлению их в мемориальных сооружениях, названиях улиц и площадей, поддержке производства фильмов определенной направленности и т.п. Однако, как замечает Ю. Шерер, в плюралистических демократиях историческая политика понимается существенно шире и определяется как посредническая деятельность в изучении самых разных форм исторического опыта[3]. В эту политику вовлечены не только государство и профессиональные сообщества историков, писателей, художников, журналистов, но и заинтересованные непрофессионалы. История, таким образом, предстает как предмет открытых публичных дискуссий и всегда содержит в себе возможность различных интерпретаций и оценок. В российской политической культуре такой плюрализм считался недопустимой роскошью. Историческая политика часто осуществлялась по формуле, описанной Дж. Оруэллом в романе «1984»: «Кто управляет прошлым <…>, тот управляет будущим; кто управляет настоящим, тот управляет прошлым». Механика такого управления проста: «Нужна всего-навсего непрерывная цепь побед над собственной памятью»[4]. Колонизация исторической политики режимом является проявлением идеократического типа легитимации власти. «Идея-правительница», лежавшая в основании репрезентации политического порядка, обретала свою убедительность, лишь опираясь на упрощенную версию истории (от известной идеологемы «Москва – третий Рим» до советского «исторического материализма» и современных мифологем о «светлом прошлом» и «лихих девяностых»).

3. Повышенная чувствительность к разрывам исторического времени. Чувство исторического времени оказывается возможным лишь как переживание последовательных ходов в игре между прошлым и настоящим, настоящим и будущим[5]. Однако такая ментальная игра определяется в России двумя, казалось бы, взаимоисключающими характеристиками. Для российской культуры характерны богатый опыт «крушения традиций», постоянный поиск себя, устойчивое стремление изменить существующие порядки, разорвать «порочный круг» и начать историю с «чистого листа» в надежде на чудесное осуществление заветных желаний. Но бунтарское отношение к прошлому соседствует с другой ипостасью российской культуры.

Она предстает малоподвижной и как бы застывшей, живущей вне времени. Здесь могут происходить самые разнообразные события и перемены, но каждый раз все возвращается «на круги своя». Прошлое не отменяется настоящим, оно не проходит в результате бурь и революций, а продолжает существовать, поддерживая веру в неизменность порядка вещей. Для постсоветской России характерно обретение «связи времен» путем обращения к ностальгическим образам. Окружая себя символами истории, политическая элита пытается обосновать наличие собственного «места в истории». В любом случае история предстает как разорванная: либо память об исторических событиях разрушает единую логику исторической эволюции, либо эта логика воспроизводится путем вытеснения неудобных фактов. За дискретностью исторического времени скрывается характерный для российской культуры онтологический разрыв между приватными структурами повседневности, которые являются онтологическим основанием разнообразных микроисторий, и публичными политическими дискурсами, в которых воспроизводятся социальные идеалы и обосновывающие их большие исторические нарративы.

4. Невозможность разрешения напряженности между социальной реальностью и социальным идеалом в рамках конструирования исторической эволюции. Привнесенное модерностью чувство истории определяется напряженностью между тем, что существует, и тем, что должно быть. В культуре западной модерности напряженность между существующим порядком и социальными идеалами разрешалась в рамках идеи прогресса, которая еще до недавнего времени обеспечивала чувство оптимизма там, где приходилось оценивать перспективы продвижения к идеалу. Российский вариант модерности, прораставший в условиях «закрытого общества» и вытеснения активности личности, не позволял создавать устойчивые связи, необходимые для конструирования эволюционного прогрессивного процесса. Дискретность исторического времени также мешала встраиванию идеала в исторический процесс. Еще в начале XX в. российские либералы и умеренные социал-демократы стремились встроить свои представления об идеале в русло исторического времени. Они пытались примирить представления об идеале с необходимостью длительного и кропотливого преобразования общества. Однако стили мышления, связывающие достижение идеала с эволюционным развитием, не получили широкого распространения. Это в значительной степени объясняется институциональными разрывами между действительностью и альтернативными представлениями об обществе, хорошо развитыми, но трудно достижимыми. Лишенные связи с реальностью, идеалы часто обретали фантастические черты, проявление которых в актуальной реальности разглядеть было почти невозможно. Еще сто лет назад Л.Тихомиров увидел весьма опасные следствия такой системы мысли: «В этой высоте основного элемента нации лежит трудность его реализации, а трудность реализации грозит разочарованием, унынием и смертью нации, оказавшейся неспособной провести в мир столь высоко взятый идеал»[6].

5. Стремление к достижению социального идеала путем «отмены» истории. Если продвижение к идеалу невозможно по мере длительной исторической эволюции, то политическая мысль ищет возможности прорыва к идеалу путем преодоления логики исторической необходимости и выхода за пределы истории – в результате «скачка из царства необходимости в царство свободы». Разумеется, есть примеры, когда представления об идеале в российской культуре и политике связываются с будущим или прошлым. Но в этом случае «светлое будущее», так же как и пришедшее ему на смену «светлое прошлое», радикально отрываются от актуальной действительности и предстают не в виде одного из модусов исторического времени (времени-хронос), а как проявление своеобразной «параллельной» реальности. Один из характерных примеров – маниловщина. Гоголевский герой во всех деталях знал, какой нужно построить мост, кто и чем там будет торговать и как замечательно заживут люди с появлением этого моста. Однако подобным маниловским проектам (включая оптимистичные

планы и предвыборные обещания последних лет) изначально присуще вполне четкое, хотя и неартикулируемое понимание того, что они осуществятся, как принято говорить в подобных случаях, «не в этой жизни». В российской политической традиции доминируют консервативный и большевистский стили мышления, которые, при всей их противоположности, сходятся в одном: социальный идеал помещается либо в идеальное прошлое, либо в такое же идеальное будущее. Консерваторы объявляли идеал уже воплощенным и воспроизводили утопию остановки исторического времени. Большевики стремились к прорыву за пределы истории (как у В. Маяковского: «Клячу истории загоним. Левой! Левой! Левой!»). Оба стиля мышления (консервативное «подмораживание» истории в эсхатологическом ожидании «конца времен» и большевистские мечты о хилиастическом «конце истории») основываются на стремлении выйти за рамки исторического времени. В обоих случаях идеал не встроен в исторический процесс (коммунизм, как известно, конструировался как топос, вынесенный за рамки истории; консервативная утопия также локализуется не в истории, а в «трансцендентном» прошлом – мифическом времени начала). Поэтому для прорыва к идеалу требуется не кропотливая работа по связыванию прошлого, настоящего и будущего, а радикальная смена декораций (как в большевизме). В результате и сам исторический процесс предстает как инверсионное движение маятника, который на огромной скорости пролетает все «срединные» смыслы и замедляет свое движение лишь в крайних точках. Отсюда характерные разрывы между идеалами, вынесенными в долгосрочную перспективу, и краткосрочными задачами.

6. Преобладание топологии над хронологией. Если снятие напряженности между существующей реальностью и идеалом невозможно во времени, то такое снятие обретает пространственную семантику. Для российского чувства истории характерно преобладание пространства над временем, топологии над хронологией. Д. Белл связывал подобный тип мышления с имперским сознанием[7]. По его мнению, до XVIII в. вся «история» была историей империй. Поскольку империи представляют собой географические образования, логика их становления задается стремлением к экспансии. События в истории империй – это результат их столкновения с внешним для них миром. Единственной парадигмой, в которую эти события могли вписаться, была модель пространственного расширения. Имперское сознание имеет существенное значение в российской политической культуре. Однако в русском языке признаки доминирования пространственного мышления весьма устойчивы и не связаны только лишь с имперским наследием. Например, слово «развитие» понимается скорее как пространственное разворачивание. Даже этимология слова «время» отсылает к слову «вертеть», пространственная семантика которого очевидна.

7. Произвольный выбор исторических контекстов в идеализации «героических страниц» истории и вытеснении травматичных периодов. Любопытно, что, согласно многочисленным опросам, респонденты, прожившие всю жизнь в советском обществе, могут идеализировать дореволюционную Россию, а родившиеся в годы перестройки могут оказаться рьяными защитниками сталинизма. Выбор удобных контекстов прошлого остается в значительной степени произвольным. «Модели для сборки» отечественной истории содержат в себе несовместимые части, которые дают возможность собранным конструкциям существовать в принципиально разнородных смысловых полях. Поскольку чувство истории не хронологично, то болезненные периоды с легкостью изымаются из исторического сознания. Причем речь идет о вытеснении, а не о деконструкции травматичных периодов. Поэтому такое вытеснение оборачивается, как правило, некритической идеализацией периодов, предшествовавших травме[8]. В настоящее время из публичного дискурса вытесняется, например, память о «перестройке» и «лихих девяностых». Травматичность этого времени способствует обозначению его как «случайного» и «выпадающего» из исторического процесса. В качестве компенсации возникают позитивные образы советского общества 1970-х годов[9]. Эти ностальгические образы

замещают невнятность новых смыслов и используются в легитимации актуальных представлений о политической реальности. Кстати, аналогичным образом строилась легитимация советских руководителей. Почти каждый из них стремился обозначить предшествующий период как ошибочное отклонение от движения к идеальной цели, как бы «приближая» время своего правления к «октябрю 1917 года» – мифологическому времени начала советской хронологии. Такой стиль мышления весьма логичен в условиях, когда история предстает не в виде процесса, в котором прошлое сменяется настоящим и будущим, а в виде пространства, в котором одновременно содержатся все исторические образы. Эта традиционная для российской культуры черта усиливается в условиях постмодернистских потребительских веяний, когда исторические образы и сюжеты, превратившись в объекты потребления, подчиняются логике потребительских рейтингов.

8. Преобладание цикличного чувства времени над идеей прогресса. В книге «Смысл истории» Н.А. Бердяев доказывал тезис о том, что «история есть миф»[10]. С той точки зрения, что интерпретация истории чаще всего подвергается воздействию мифологизации, это, конечно же, верно. Но, если рассуждать терминологически строго, исторический и мифологический типы мышления строятся на принципиально разных временных кодах. Время истории линейно разворачивается из прошлого через настоящее к будущему. Время мифа циклично, оно основано на повторяемости и «вечном возвращении» к архетипическим истокам. Отождествление истории и мифа известным русским философом, видимо, не случайно. Западная модерность основывается на таких символических и институциональных порядках, которые переводят различные аспекты человеческой деятельности в русло прогрессивного наращивания технологического, промышленного и социального потенциала. Линейный хронотоп модерности противопоставляет репродуктивно-цикличному доиндустриальному труду автономное и творческое личностное начало, позволяющее существенно менять условия жизни, как бы размыкая цикличную логику времени в линию. Однако в силу разных причин в современной российской культуре реанимируются существенные элементы цикличного хронотопа. Сырьевая экономика не может выражать себя в семантике развития, поскольку основана на принципиально иной смысловой основе – на семантике невозобновляемости природных ресурсов. Эта семантика также актуализирует представления о закрытости жизненного пространства. Главной ценностью сырьевой экономики является именно земля с ее богатыми недрами, а не капитал, который может как «притекать», так и «утекать». Если природные ресурсы представляют собой главную опору экономики, то земля понимается как начало и конец культуры. Истощение ресурсов означает катастрофу, гибель культуры. Время как бы совершает цикл от начала к концу истории. Отсюда идея деградации времени и идеализация прошлого.

9. Стремление представить историческое развитие России в изоляции от внешнего мира. Эта особенность также выражает пространственные аспекты переживания истории. Она напрямую связана с цикличным временем, доминированием пространственного мышления и «манихейской» логикой жесткого противопоставления по линии «мы»/«они» (в духе советских пропагандистских колонок «Два мира – два образа жизни»). На основании ностальгических образов прошлого и реанимации мифологемы об «особом пути» и особой миссии России поддерживается вера в необходимость разворачивания (расширения) пространства «национальных интересов», в котором возможно спасение от болезней «гниющего» Запада. Историческое сознание, определяемое подобными стереотипами, неизбежно будет колебаться между двумя хорошо знакомыми полюсами. На одном из них – идея избранности евразийского пространства, которое не просто останется «тихой гаванью» среди бушующих финансовых и других катаклизмов, но и выступит местом притяжения и спасения разных народов от грядущих катастроф. А на другом – чаадаевское чувство «выпадения» России из мировой истории, ее отверженности в ряду других культур – привлекательных, но чуждых и чужих.

Описанные девять особенностей функционирования представлений о прошлом отражают парадигмальные тенденции, характерные для российской политической традиции. Они определяются способами кодирования времени и пространства, которые создают своеобразную архитектонику социальной и политической реальности как мыслительного конструкта. Поэтому основное внимание в предлагаемом анализе сосредоточено на социально-эпистемологической проблематике времени и пространства, их роли в определении способов обращения к историческому прошлому. Выявленные особенности, хотя и являются относительно устойчивыми, все же подвержены существенным трансформациям. В переживании исторического времени в послед- ние годы наблюдаются такие постмодернистские веяния, как фрагментация исторических образов, соединение несоединимого, виртуализация истории и подчинение ее развлекательно-потребительской логике. Однако новые тенденции пока реализуются в рамках описанных особенностей обращения с прошлым, изменяя, но не отменяя их.

[1] Флоровский Г. Пути русского богословия. Минск: Издательство Белорусского Экзархата, 2006. С. 492.

[2] Чаадаев П.Я. Избранные сочинения и письма. М.: Правда, 1991. С. 28.

[3] См.: Шерер Ю. Историческая политика в демократических обществах. Инициатива гражданина // Общая тетрадь: Вестник Московской школы политических исследований, 2010. № 1(51). С. 55.

[4] Оруэлл Дж. «1984» и эссе разных лет. М.: Прогресс, 1989. С. 41.

[5] См.: Успенский Б. Этюды о русской истории. СПб.: Азбука, 2002. С. 21–43.

[6] Тихомиров Л.А. Монархическая государственность. М.: Алир, 1998. С. 353–354.

[7] См.: Белл Д., Иноземцев В. Эпоха разобщенности. Размышления о мире XXI века. М.: Журнал «Свободная мысль», Центр исследований постиндустриального общества, 2007. С. 22–28.

[8] См.: Гудков Л., Дубин Б. Посттоталитарный синдром: «управляемая демократия» и апатия масс // Пути российского посткоммунизма. М.: Издательство Р. Элинина, 2007. С. 50–52.

[9] Об этом см. тематические номера журнала «Неприкосновенный запас: дебаты о политике и культуре»: Длинные 1970-е: советское общество в 1968–1982 годы [2007, № 2 (52)]; Советское прошлое: между политикой памяти и реальной политикой [2009, № 2 (64)].

[10] Бердяев Н. Смысл истории. М.: Мысль, 1990. С. 18.